

Игорь Шестков "Несколько слов об эмиграции"



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЭМИГРАЦИИ

(отрывки из интервью)

Решение об отъезде из СССР, принятое мной в феврале 1990 года, не было мимолетным капризом, оно было реакцией на страшные удары и бесконечные маленькие гнусности, которыми наша советская Родина щедро одаривала и меня и других своих граждан.

Первым таким ударом, в буквальном смысле перебившем мне и многим другим молодым людям дыхание, был разгон летом 1971 года знаменитой московской — математической, с литературным уклоном, Второй школы, в которой я тогда учился, закончил как раз восьмой класс. Об этой школе, точнее — об этом островке свободы в советском океане лжи и подлости — написаны бесчисленные воспоминания выпускников и бывших учителей, разбросанных по всему свету, издано несколько книг. Поэтому я не буду распространяться,

замечу только, что я никогда ни до своих неполных трех лет во Второй школе, ни после не встречал стольких умных, свободных, творческих людей как там. Мехмат МГУ, где я учился, казался после Второй школы — замшелым захолустьем. В институте, в котором я после мехмата десять лет сидел, работали конечно умные люди, талантливые, остро думающие ученые, но затхлая атмосфера госучреждения и страх за собственную судьбу и карьеру заставляли их забиваться в норы, превращали их в подобострастных совков, рабов начальства и государства, проповедников злобного советского обскурантизма. В Германии я познакомился с различными людьми. Встречались среди них и таланты и умницы, но второшкольники мне были роднее и ближе... Может быть потому, что среди них преобладали интеллигентные евреи, полуевреи или люди, находящиеся в родственных или дружеских связях с евреями, а в Германии таких людей по известным причинам нет.

В Москве-Ленинграде конца шестидесятых, начала семидесятых существовал неформальный еврейский культурный круг. Что-то вроде живого интернета. В этот круг входили не только евреи и ивановы-по-матери, но и тысячи их друзей и знакомых. Этот круг был хранилищем и распространителем знаний и культуры. Он вбирал в себя все хорошее, что тогда создавалось, писалось, снималось и щедро делился этим со своими людьми. На симфоническом концерте в консерватории, на показе фильмов Феллини в «Иллюзионе», на встрече с Роланом Быковым или Тарковским, на защите докторской диссертации по математике или лингвистике — везде присутствовали представители этого сообщества. Они же читали каждую заслуживающую внимания книгу, слушали иностранные «голоса», ходили на лучшие концерты, присутствовали на процессах против диссидентов — и вот уже по телефону или по «кухонным каналам» неслась проверенная и критически осознанная информация.

Привлекалось внимание. Создавалось культурное пространство.

Одним из генераторов этого пространства и была Вторая школа. Она воспитывала самостоятельно думающих, умеющих учиться и читать тексты творческих людей, будущих ученых. Процент евреев-учеников и педагогов в ней был велик. За это ее и ненавидели советские начальники. Вначале в школу послали комиссию, потом сняли директора — Овчинникова и разогнали

учителей. Ученики ушли сами.

Ушли мои любимые учителя. Наш класс опустел. Ушла и девочка, в которую я был влюблен. Мне больше ходить в школу не хотелось. Вместо того, чтобы идти на уроки, я с моим другом Женькой ехал в кинотеатр «Иллюзион» и смотрел там американские комедии тридцатых годов. После кино мы гуляли по тогда еще пустой Москве, ели мороженое и болтали... Расставшись с Женей у Октябрьской площади, я уходил бродить по переулкам Замоскворечья или ехал на Арбат, в Дом Книги, или заходил в Пушкинский музей.

Тогда, во время этих одиноких прогулок по Москве и по музейным залам я впервые ощутил странное блаженное чувство отторгнутости от – правильной жизни, от – коллектива, от – общества, от моей безумной страны, безнадежно отравленной советчиной.

Это и было началом эмиграции. Вначале — внутренней, а после переросшей в настоящую.

К сожалению, этим первым ударом дело не ограничилось. После него последовали и другие. Один другого тяжелее.

Почти сразу после моего окончания МГУ началась Афганская война, закончившаяся незадолго до моего отъезда из страны. Бессмысленная эта бойня, учиненная моим народом в чужой стране висела как свинцовая гиря позора на каждом из нас. Состоялась Олимпиада 80. КГБ разгромил диссидентское движение. Началось очередное закручивание гаек во всех сферах жизни, так называемая брежневская стагнация. Показательная ссылка академика Сахарова и его жены в Горький и издевательства над ними воспринимались нами как личная трагедия. Сахарова насильственно кормили, а боль в горле от трубки испытывали мы все.

И без того спертая атмосфера в обществе еще сгустилась во время правления Андропова.

Вместе с Черненко гнила и умирала огромная страна.

Грянул Чернобыль. Утонул Нахимов. Горбачев попытался оживить труп «перестройкой», а когда не вышло — попробовал было грубой силой скрепить разваливающийся СССР. В 90-м году стало ясно, что мы все стоим на краю пропасти. В магазинах пропали те немногие продукты, которые еще там были.

Социальная духота предвещала бурю. Пора было уезжать.

...

Я приехал в Дрезден в конце сентября 1990 года по туристическому приглашению. Виза была мне открыта на две недели. После посещения Западного Берлина я твердо решил никогда не возвращаться на родину. О том, что в Германии можно остаться по – еврейской линии, я и понятия не имел.

Я, конечно, мог пойти в полицию и попросить на общих основаниях политического убежища. Чутье однако подсказывало мне — не ходи, ничего хорошего из этого не выйдет.

Был и другой путь — поехать во франкфуртский аэропорт, найти там каких-нибудь представителей израильского Сахнута, и заявить им, что хочу в Израиль. Они бы, полагаю, тут же меня отправили в Землю Обетованную. От этого шага меня удержали страхи. Не смейтесь, пожалуйста! Я боялся жары и языка иврит. Не хотел быть пушечным мясом. Как еврей по отцу я справедливо полагал, что стопроцентные аиды мне об этой моей половинчатости не раз злорадно напомнят. Да еще и арабы вокруг, и армейская служба. И жара, жара, жара...

Надо было остаться в милой цивилизованной Европе, только как?

Помог, как всегда, случай. Гулял я по еврейскому кладбищу в Дрездене. Ни на что уже не надеялся. И вот, подходит ко мне маленькая такая старушка, смотрит в мою мрачную харю своими молодыми голубыми глазами, улыбается и говорит мне по-английски: Вы еврей из СССР?

— Да.

— Почему вы такой мрачный, что-нибудь случилось?

— Не хочу возвращаться домой.

— Поезжайте в Израиль, там здорово. Представляете, даже водопроводчики и таксисты там евреи!

— Это конечно обнадеживает, но там жарко. Я хочу жить тут, в Германии.

— Понимаю. Тогда вам надо поехать в Берлин и найти еврейскую общину на Ораниенбургерштрассе. Там вам помогут остаться. Спешите, дверка может и захлопнуться.

Я как мог, на плохом английском, поблагодарил мою спасительницу и на следующий же день на последние деньги отправился со своим маленьким

рюкзачком в Берлин. Нашел общину. Там со мной говорила какая-то циничная тетка из наших. Тетка была по-видимому давно и хорошо в Германии устроена, поэтому на меня она смотрела не без отвращения, особенно ее возмущали моя засаленная анапская матросская фуражка с золотой кокардой в виде краба, подаренная мне две недели назад одним симпатичным рыбаком, и мои, анапские же, коричневые сандалии (сандалии и меня самого приводили в ужас, и не только сандалии, но и зеленая курточка с вышитой на рукаве надписью «Мосэнерго» и жеванные брюки и застиранная белая майка, но денег на покупку новой обуви и одежды у меня не было), но дело свое сделала, написала мне адрес на листочке и сказала: Идите сейчас же туда, там с двух часов таких как вы принимает фрау Шмидт, она поговорит с вами и решит вашу судьбу.

Я поспешил по указанному адресу. Длинное казенное здание находилось где-то за улицей Унтер-ден-Линден. Я поднялся на второй этаж и попал в пустынный коридор, залитый светом. Нашел указанную мне комнату. Постучал. Вошел. И тут же мне захотелось уйти, пропасть, испариться.

В огромной пустой зале стоял стол — за ним сидели двое: импозантная женщина в светлой вязаной кофточке и мужчина в черном. Перед столом стоял стул — на него меня жестами пригласили сесть. А вокруг стола стояли люди с камерами и прожекторами. Много людей. Человек тридцать. Как мне потом сообщили, это были телевизионщики, которым дали задание — показать типичного еврейского беженца из СССР.

Что делать? Ко всему этому я подготовлен не был. Никаких интервью с роду не давал. Людей с камерами побаивался. Какой-то чёрт в голове шепнул мне доверительно: Да наплюй на все! Вся твоя жизнь — дурацкая комедия. Плыви по течению и наслаждайся представлением. Изменить ты все равно ничего не можешь.

Я послушался чёрта и сел на стул перед столом. На меня смотрело много незнакомых людей (мне казалось — вся Германия), в лицо светили яркие, шипящие как змеи, лампы, я был оглушен, смущен, фуражку с крабом положил на колени.

Говорила со мной женщина — фрау профессор Шмидт. По-русски. Мужчине она мои слова переводила шепотом почему-то на английский. Как-то

чувствовалось, что главный тут — именно он, этот черный человек. Хотя фрау Шмидт много лет преподавала русский язык в ...ом университете, говорила она неважно, а понимала и того хуже. Но была доброжелательной и спокойной.

Говорили мы минут сорок.

Беседа наша записывалась телевизионщиками. Через две недели, когда я уже жил в лагере Глаухау, мое интервью показали по ZDF. Мои солагерники хмыкали. А я сгорал со стыда.

Вначале профессорша внимательно изучила мое свидетельство о рождении и мой внутренний советский паспорт. Потом спросила торжественно: Господин Ш., почему вы хотите остаться жить в Германии?

Камеры и микрофоны впились в меня как скорпионы.

— Потому что в СССР евреи политически преследуются и дискриминируются государством, из-за бытового антисемитизма и страха погромов.

Все это было правдой и неправдой одновременно. Разумеется, евреи преследовались в СССР. Но только те, которые активно боролись за право выехать в Израиль. А я репатрироваться не хотел и с государством не боролся.

Дискриминация евреев в СССР? Да, разумеется, была дискриминация. И это было отвратительно. Но моя семья от нее почти не пострадала. Мой папа-еврей окончил МГУ, защитил кандидатскую и работал в МГУ до своей смерти. Моя тетка еврейка закончила МГУ, защитила и кандидатскую и докторскую, работала в НИИ при Академии наук. Мой дед-еврей работал главным инженером крупнейшей строительной фирмы. Моя бабушка-еврейка работала конструктором точных приборов в обсерватории. Моя мать, жена еврея, доктор геологических наук, работала в московском НИИ. Мой отчим-еврей, тоже доктор, работал в НИИ под Москвой. Я сам, полуеврей, закончил МГУ и работал там почти до отъезда. Многие мои коллеги по институту были евреями. Почти все — кандидаты и доктора.

Тут скорее стоило бы говорить не о дискриминации, а наоборот, о засилье...

Бытовой антисемитизм? Был конечно. Но где его нет?

Страх погромов — тогда действительно был.

Фрау Шмидт не унималась.

— Не могли бы вы привести примеры преследования и дискриминации. Если

можно — на вашем примере.

Я растерялся. Не было примеров. Надлежало их однако срочно выдумать. Я начал с правды — рассказал, о том, что против моей фамилии в классном журнале кто-то все время писал «жид», затем о том, как меня дразнили маленькие хулиганы из соседней школы, как меня унижала учительница-антисемитка — а закончил враньем. Рассказал о том, что партийные органы запретили мне заниматься живописью, потому что я еврей (на самом деле меня не приняли в «Московский Горком графиков», несмотря на то, что общее собрание постановило принять, а почему — до сих пор не знаю), не пустили в Болгарию за то, что я еврей (на самом деле пустили, хотя и мурыжили долго — только я заболел отитом и поехать не смог).

Кажется, я придумал что-то еще, еще кошмарнее, не хочу вспоминать...

Следующий удар был ниже пояса.

— Господин Ш., в вашем паспорте стоит — русский, и в вашем свидетельстве о рождении написано, что ваша мама — русская. Знаете ли вы, что, согласно Галахе, вы евреем не являетесь?

Начинается!

Я растерялся. Зловещее слово «Галаха» было мне незнакомо. Моя мама действительно была русской женщиной, хоть и с примесью турецкой крови, за что ее, впрочем, тоже дразнили жидовкой, родилась она в Верее и жила во время войны с бабушкой в Москве. В паспорте моем действительно стояло — русский. Я вздохнул и ответил смиренно: Я еврей только по отцу, потому и стоит — русский в паспорте.

После этого я стыдливо потупился и изобразил на морде траур.

Фрау Шмидт и телевизионщики остались таким ответом и выражением моего лица очень довольны. Именно такими, изможденными, изнемогшими от преследований и дискриминации — и хотела видеть тогда Германия евреев из СССР.

Следующая группа вопросов была тоже нелегкой.

— Считаете ли вы себя верующим иудеем?

— Когда вы в последний раз были в синагоге?

— Читаете ли вы Тору на иврите?

— Соблюдаете ли еврейские традиции?

— Едите ли вы свинину?

— Говорите ли вы или ваши родственники на идиш?

— Обрезаны ли вы?

— Почему вы не хотите репатрироваться в Израиль, на вашу историческую родину?

Отвечая, я и стыдился, и внутренне хохотал, и просил прощения у Всевышнего. Седовласый старик в ночной рубашке укоризненно смотрел на меня со сверкающего облака и неодобрительно качал головой.

В конце собеседования фрау Шмидт пожала мне руку, черный человек кивнул, но руки не подал, мне вручили маленькую бумажку и билет на поезд в саксонский Глаухау. И сказали, чтобы я сейчас же туда ехал, потому что там организуется «лагерь» для таких же, как я, евреев из СССР, и я к нему приписан. Я отправился в Глаухау.

Страшно хотелось есть и пить. Голова разболелась от яркого света. Ехать нужно было долго. Денег не было.

Приехал. Огляделся.

Маленький городок. Захолустье. Улицы плохо освещены. С трудом нашел общежитие студентов Технического университета Цвикау, в котором должен был находиться лагерь. Обратился с помощью жестов к вахтеру. По-немецки я не знал тогда ничего, кроме «Гитлер капут». Показал ему бумажку из Берлина. Он только развел руками, пожал плечами и показал на лавку. Я сел на нее и ждал, ждал, ждал.

...

Поздно вечером появился Вольфганг, переводчик, единственный смотритель лагеря. Он отвел меня в маленькую комнатку с окном, столиком, умывальником и двухэтажной кроватью. Сказал, что придет за мной завтра в восемь утра, и мы пойдем в полицию.

Я напился воды из-под крана и лег спать в нижней половине кровати.

В соседней комнате часов до трех громко болтали студенты-арабы. Пахло неприятно, общежитием. Началась моя новая немецкая жизнь.

Побывал с Вольфгангом в полиции. Полицейские меня ни о чем не

расспрашивали. Им было густо начхать на мои еврейские дела — их, как мне объяснил Вольфганг, интересовало только одно — не поддельные ли у меня документы. Они долго рассматривали мой паспорт и свидетельство о рождении в лупу и терли их какой-то дрянью. Потом унесли в другую комнату для просвечивания особым аппаратом. В конце концов, документы мне вернули и вручили мне крохотную бумажку с печатью. Из содержания которой следовало, что я «беженец, принятый в рамках гуманитарных мероприятий согласно параграфу... и что мне разрешено три месяца жить в Глаухау и не разрешено Глаухау покидать».

С этой бумажкой мы с Вольфгангом направились в социаламт, где мне, после заполнения многостраничных анкет, выдали в кассе 400 (кажется) марок. Вольфганг тут же попросил меня заплатить за месяц проживания в общежитии какую-то небольшую сумму, вручил мне квитанцию и побежал встречать следующих новоприезжих.

Я зашел в магазин и купил две булочки, мясной салат с майонезом, сухое молоко, пирожное «поцелуй негра» и банку растворимого кофе. У себя в комнатке я съел булочки и салат, и еда показалась мне небесно вкусной.

Вскипятил воду в эмалированной кружке привезенным из Москвы маленьким спиральным кипятивником. Выпил кофе с молоком. Съел поцелуй негра.

Блаженство! Потом опять пошел в магазин. Купил себе дешевые часы, носки, трусы, джинсы, пару приличных ботинок, бежевую курточку и синюю шапочку с козырьком. Старое советское барахло тут же выкинул. Затем не удержался, пошел в книжный и купил на сто марок альбомы по искусству и словари. Начал листать альбомы, даже попытался перевести несколько страниц монографии о Климте. Господи, как интересно и хорошо!

Походил по городку, посмотрел на архитектуру, на немцев, на природу.

Изумила бедность. Развалины. Лица у аборигенов — как будто вырублены топором. Пожилые женщины — похожи на ведьм на иллюстрациях к детским сказкам. Интеллигентных лиц нет вообще. Красивых девушек не видно. В нижней части города — неработающие текстильные фабрики.

По ночам в Глаухау почему-то невыносимо воняло. Вода в речке была цвета помоев и тоже скверно пахла. Зато леса вокруг Глаухау были замечательные.

Я тогда и не знал, что под ними — урановая руда. Ее добывал комбинат «Висмут», которым командовали советские. Недалеко от Глаухау до сих пор возвышаются гигантские пирамиды порожней породы.

...

Приехали остальные жители нашего лагеря. Начались ежедневные шестичасовые занятия немецким языком. Занятия эти были нудными, тяжелыми — трудно взрослому учить чужой язык. Не запоминаются слова, сколько их ни повторяй. Говорили наши преподавательницы на саксонском диалекте. С каждым днем занятий наши ряды таяли. Немецким языком овладело только около четверти обитателей лагеря. В основном женщины.

За всю мою московскую жизнь я не видел таких неприятных евреев, каких повидал в — лагере для еврейских беженцев в Глаухау и потом, в городе К., в котором был перевалочный пункт для контингентных беженцев («контингентный» означает только, что каждая земля Германии обязана была принять свой — контингент, свое количество таких беженцев). Невежественные грубые примитивные люди. Часто с криминальными замашками. Многие принципиально не платили в поездах. Некоторые подворовывали в окрестных магазинчиках. И бахвалились этим. Один еврей из Ленинграда, которого прозвали за его успехи в овладении немецким языком «Цвай нога», просверлил в монетке дырочку, продел в нее ниточку и бросал ее в телефонный аппарат. Аппарат монетку проглотить не мог и «Цвай нога» беззаботно болтал часами с своими неухавшими ленинградскими родственниками и описывал жизнь в Глаухау примерно так: Глуховка — кошмар, но Германия — прелесть. Приезжайте скорее все сюда. Эти идиоты платят нам деньги ни за что. Мне вылечили все зубы и собираются делать протез. Я купил электрический утюг с паром.

После звонка он вытягивал монетку за ниточку обратно...

Долгие его переговоры заинтересовали телефонную компанию, его вычислили и поймали с поличным. Цвай нога рассказывал: Представляешь, беседую я себе с тетей Бертой. Убеждаю ее, что надо продать дачу и валить сюда. А она не хочет продавать дачу, она там с Сеней прожила сорок лет. У нее там райские кущи. Вот, говорю я, говорю, ну а в автомате моя монетка с ниточкой, понимаешь,

автомат икает-икает, но монетку не берет. Ты ведь знаешь, я близорукий, вижу плохо без очков. На время разговора я очки снял, а потом надел, хотел тете Берте адрес продиктовать. И вижу я... Как в кошмаре... ко всем стеклам кабины с другой стороны какие-то люди носами прижались. Помнишь, в детстве, так делали... получается свинья, пятачок. И вот пять таких свиной смотрят на меня огромными глазами и лыбятся, лыбятся... Я чуть от страха не умер, а это были полицейские.

...

Моим соседом по комнате оказался интересный человек, Боря С.. Он на всё вокруг нас смотрел еще более изумленно, чем я. Он освободился из тюрьмы за несколько дней до отъезда в Германию. Он и Москву-то не узнал. Просидел пятнадцать лет за убийство. На мой бестактный вопрос, кого он убил, Боря ответил: Сдуру убили человека, неважно кого. При ограблении киоска.

— Боря, а ты проходил собеседование с фрау Шмидт?

— Да, мучила меня эта кикимора минут десять.

— Ну и что ты ей сказал, где ты был последние пятнадцать лет?

— Я сказал, что работал в угольных карьерах... га-га-га...

Боря получил в полиции такую же бумажку, как и я, сменил с моей помощью советские водительские права на немецкие и тут же уехал в Берлин. Он ни разу не ночевал в Глаухау. За это я его очень уважал.

Боря появился в Глаухау месяца через три для того, чтобы сняться с учета в полиции — его берлинские друзья уже обустроили его новую жизнь. Привез с собой целый чемодан различных мясных и рыбных деликатесов и бутылок восемь водки. Все это мы раздали нашим людям (один сосед по лагерю говорил мне: Знаешь, тут такие консервы вкусные. Только не понимаю, почему на банках собачка нарисована...).

После этого он уехал в Берлин на новеньком, только что купленном микроавтобусе. Через несколько недель Боря мне позвонил и рассказал, что с ним случилось на обратном пути из Глаухау в Берлин.

— Ты помнишь, я купил микроавтобус в Бонне. Оформил страховку на один перегон. Ну и поехал. У вас побывал, а потом значит домой. А по пути — туман страшный. Ни зги, а я, ты же знаешь, водить машину не умею, правил не знаю.

Короче вцепился я одному чугуу в зад. Тот — другому, перед ним, тот дальше. Пробка там была. А я не видел. Тихо ехал, но затормозить не смог. Из-за тумана. И ты представляешь, сорок! Сорок машин в аварию попали из-за меня. Никто не погиб, только машины побили. Фашисты-мусора меня хватъ, а я им страховку врыло! Потом выяснилось — на полмиллиона ущерб. Бог меня спас с этой страховкой. Я пожертвовал пятьсот марок на синагогу. Завтра идем с дружками в баню обмывать аварию. Хочешь, приезжай — приветим, с девочками познакомим? А то ты там в Глуховке протухнешь!

...

Примерно треть моих коллег по лагерю не имела никакого отношения к еврейству. Некоторые мне даже об этом, не таясь, рассказывали. Это были украинцы или молдаване (был и один армянин), купившие свидетельства о рождении и паспорта специально для Германии. Стоили они тогда долларов по двадцать за ксиву, не больше. Все эти документы проверялись и просвечивались в полиции Глаухау так же тщательно, как и мои. Ну никак доблестные тевтоны не могли понять, что документы эти были подлинные, не фальшивые... выданные действительно теми учреждениями, которые должны были такие документы выдавать, заверенные настоящими печатями, подписанные реальными чиновниками, которые и должны были подписывать. Но... СОДЕРЖАНИЕ этих документов было насквозь фальшивое. Никого из таких «евреев» не разоблачили, не отправили назад на Украину, все они получили статус беженца, социальные пособия, а позже — «фремденпассы», немецкие паспорта для иностранцев.

Много было половинок, как и я. С русскими женами и детьми-четвертушками. Только процентов десять из нас были действительно стопроцентными аидами. Настоящих, верующих, живущих по обрядам, обрезанных евреев — не было НИ ОДНОГО!

Были в лагере и антисемиты. Были и всамоделишние, вооруженные огнестрельным оружием бандиты. Хорошо еще, они вели себя сдержанно, только иногда по ночам, когда напивались, стреляли из пистолетов с крыши общежития по звездам.

Вольфганг говорил мне, что жители Глаухау нас ненавидят и боятся.

Боялись — потому что видели наши бандитские рожи и слышали выстрелы по ночам. А вот за что они нас ненавидели? Я спросил об этом Вольфганга.

— Понимаешь, тут даже не ненависть, скорее жгучая зависть. Посмотри, когда ваша очередь пособие получать... у социала — два десятка ваших мерседесов паркуются, а ведь социальщику иметь машину запрещено. Немцу бы и в голову не пришло на тачке за социалом кататься. Да еще на такой... А вы — на мерсах, бмв, ауди. Местные жители думают так: Эти новые приехали, они все льготы получают от западников, а нам ничего не останется. Им и закон не писан. Жиды проклятые...

Откуда мерсы и ауди? Многие привезли с собой из СССР деньги. Борис мне показывал портфель, полный валюты. Привезли деньги и тут же их вложили в дело. Начали перепродавать автомобили. Покупали в Нюрнберге и везли их в Дрезден. Пока гэдээровцы не расчухались. Наваривали бабки и покупали новые машины для перепродажи. У некоторых моих коллег через восемь месяцев — лагеря уже было тысяч по сорок-пятьдесят марок — для того времени деньги огромные. У меня денег не было, но зато я мог общаться с немцами на их языке и даже пытался читать Кафку и Гессе в оригинале.

После окончания курсов все разъехались, кто куда. Я жил какое-то время в Дрездене, в пустующей квартире матери кузена моей жены, потом перебрался в город К..

...

Тут судьба взяла меня за шкуру и притащила в арбайтсамт (на биржу труда). Не могу удержаться от соблазна, расскажу о своем первом посещении этого волшебного места, из окна коридора которого, очень к месту, была видна семиметровая голова борца за права трудящихся Маркса работы скульптора Кербеля.

Главное, что поразило тогда меня в этих узких коридорах — это выражение лиц посетителей. Тот, кто полагает, что у среднего немца нагловатое самодовольное лицо, должен непременно посетить арбайтсамт города К.. Какая уж тут наглость, какое уж самодовольство! Униженные и оскорбленные, на все готовые, измученные, серые, больные... Безработные гэдээровцы. Они потеряли не только работу, но и родину, привычный уклад жизни, веру в человека и надежды.

Сильные и смелые к тому времени уже давно покинули город. Остались неисправимые патриоты, растерявшиеся, пьющие, пассивные, неумные. Управлять ими приехали с Запада люди, не сумевшие высоко подняться по карьерной лестнице в свободном мире.

После недолгого ожидания (часа полтора) меня принял господин Шульц. Как я потом узнал, этот невзрачнейший маленький человек в недалеком прошлом состоял в комиссии — не знаю при каком учреждении — решающей, можно ли гражданину демократической республики посетить бабушку в Ганновере или дедушку в Кёльне. Господин Шульц был приветлив, но суховат. Когда я ему на моем плохом немецком объяснил, что закончил Московский университет, десять лет работал в НИИ, имею какое-то количество печатных работ, выиграл даже конкурс молодых ученых... он спокойно посмотрел на меня своими мышиными глазками и тихо сказал: Нам не нужны ученые вашей специальности, у нас самих ученые — безработные. И я не вижу никакой необходимости предоставлять работу иностранцу, в то время как столько граждан ФРГ сейчас лишены постоянного заработка и вынуждены влачить жалкое существование. Так что на нас не надейтесь, ищите работу сами. В следующий свой визит, предоставьте, пожалуйста, доказательства того, что вы посылаете по почте ваши бевербунги (просьбы принять на работу), не меньше десяти в месяц, иначе мы начнем снижать вам пособие. Помните, никто вас сюда не звал, вы сами приехали и этим еще осложнили положение людей, которые тут родились и выросли. Долго эксплуатировать немецкую социальную систему, жить тут как пенсии, мы вам не позволим!

На мою просьбу, устроить меня на курсы немецкого языка, господин Шульц отозвался так: У нас нет денег на ваше обучение. Язык вам надо было учить до того, как вы прибыли в Германию. Раньше надо было думать! Впрочем, никто ведь вас тут насильно не держит. Поезжайте на родину, там вам учить язык не понадобится.

Как бы ни был мне противен господин Шульц и его поучения, крупицу правды они содержали.

...

Мне, обыкновенному советскому человеку, в московский период моей жизни и в

голову не приходило, что где-то, почему-то можно жить, не работая, и жить не так уж и плохо. Такие понятия, как «социальное пособие» или «пособие по безработице» были в СССР неизвестны. Да, наши инвалиды и пожилые люди получали нищенскую пенсию, на которую с огромным трудом, на хлебе и картошке, выживали. Более-менее приличную, так называемую «персональную пенсию», получали только немногие важные для коммунистического государства старики. Обычная пенсия составляла тогда от 50 до 110 рублей. Персональная — кажется 210 или больше рублей. За безработицу, которая считалась тунеядством, потерявших по каким-то причинам работу людей советское государство наказывало лагерными сроками. Был такой элегантный ход — уволить с работы еврея, подавшего заявление на выезд в Израиль, с «волчьим билетом», т.е. лишить его возможности устроиться на какую-либо другую работу, и посадить через два месяца «за тунеядство». То же иногда делали в СССР и с пытающимися уехать в ФРГ этническими немцами. В ГДР им уезжать особенно не препятствовали.

Помню, возвращался я с моим приятелем Володей с какого-то сабантуя. Шли мы по Лаврушинскому переулку, рядом с Третьяковкой. Я посмотрел на здание галереи, похожее на терем-теремок, и перед моим внутренним взором пробежали почему-то не любимые картины Врубеля, а типичные для России мрачные сюжеты: «Утро стрелецкой казни» (лобное место перед собором Василия Блаженного, могучие виселицы у Кремлевской стены, стрельцы в колодках, плачущие жены и дети, злобная морда Петра Великого), «Боярыня Морозова» (Чудов монастырь-тюрьма, еретичка-раскольница в цепях, нищие, юродивые) и «Иван Грозный убивает своего сына» (похожий на дьявола царь сжимает в объятьях своего истекающего кровью сына, которого только что ударил жезлом в висок)...

Я спросил Володю: Слушай, а как поживает Юлечка М.? Что-то давно ее не видно.

У этой самой Юлечка были такие же глубокие эротичные синяки под глазами, как у несчастной суриковской боярыни. Может быть поэтому она мне тогда и припомнилась.

— А ты не знаешь, что ли?

— Что не знаю?

— Да она уже три года в Западном Берлине живет!

— Вот те на... Она же православная, все по монастырям носилась. Про батюшку своего заливала, про иконки... Как же она там живет? Где работает? Она вроде и языка не знает и от всех наук отреклась.

— Да не работает она, живет на пособие.

— Какое такое пособие?

— А вот такое. Если ты на Западе не работаешь — пособие будешь получать. Не шибко велико, но на скромную жизнь хватит. У них безработные лучше живут, чем у нас профессора. Бананы все жрут и белое мясо. Порнуху смотрят и в фольксвагенах гоняют.

Так я узнал о существовании – пособия. И, признаться, мне, живущему в обнищавшей перестроечной Москве, получавшему позорно маленькую зарплату научного сотрудника, описанная Володей жизнь берлинского безработного показалась раем.

Порнуха! Бананы! Мясо! Потрясающе! И еще и на работу не надо ходить и делать там заведомо бессмысленные, вредные дела. Не надо смотреть на опостылевшие верноподданные рожи коллег и слышать с утра до вечера их дебилские разговоры. Можно сидеть себе спокойно и рисовать.

...

В счастливое — несмотря ни на что — время студенчества я осознал одну несчастливую для меня очевидность и одну, наоборот — прекрасную. Моим несчастьем стало то, что математика и механика, как быстро выяснилось, меня вовсе не интересовали. Лекции и семинары раздражали и злили, хотя я их посещал нерегулярно. Учиться я не хотел — и не учился, сдавал только кое-как зачеты и экзамены. Перспектива — после МГУ стать ученым и играть чужую роль десятилетиями — ужасала. Но деваться-то было некуда. Не на фабрику же идти работать! Работа на фабрике, на заводе, на стройке или на земле, крестьянином, считалась в государстве рабочих и крестьян страшнейшим унижением, позорным занятием безмозглых кретин, последней перед тюрьмой ступенью падения человека.

Моим счастьем стало то, что я начал — самостоятельно — заниматься рисунком,

живописью и историей искусства. Это было сказочно. Ван Гог, Сезанн, Дега, Гоген! Мунк! Рембрандт! Макс Эрнст! Клее! Брейгель и Босх! Что может быть лучше? Ничего. Я рисовал, малевал, искал и читал книги, рассматривал репродукции, бегал в Пушкинский музей. Позже, в середине восьмидесятых годов, неоднократно принимал участие в выставках художников-нонконформистов. Искусство стало для меня главным и любимым занятием, содержанием моей жизни. К сожалению, за любовь к искусству в Советском Союзе денег не платили. Даже наоборот — если ты рисовал, к тебе относились настороженно, почти как к врагу. Не имея в руках удостоверения МОСХа (Московского Союза Художников) невозможно было участвовать в каких-то выставках, легально продавать картины, даже краски и холсты невозможно было купить...

Вы наверное спросите: Какого черта ты не поступил в Академию Художеств, в Суриковский, на искусствоведение или еще куда-нибудь, где учат малевать и изучают твоих ван-гогов?

Да, отвечаю я вам, вы были бы правы, если бы мы жили в нормальном государстве, а не в агрессивной диктатуре, использующей коммунистическую демагогию для закабаления и одурачивания собственного населения. Я чуть не полгода ходил на лекции — благо недалеко — по истории древнегреческого искусства. На которых профессор рассказывал нам не столько про Фидия, Поликлета и Мирона, сколько про восприятие античности — Марксом, Энгельсом и Лениным. Слава Богу, незабвенный козлотур Лёня Брежнев ничего о древнегреческом искусстве не написал, а то бы и его козлятину пришлось учить. Для контраста я посетил еще курс лекций по русской иконописи. Читал его доцент с кафедры научного атеизма. Рассказывал, «как церковники с помощью икон промывали мозги верующих». Помню, какой-то дерзкий студент спросил профессора, не является ли изображения Ленина иконами и не служат ли они той же цели. Доцент угрюмо посмотрел на студента, вздохнул и продолжил лекцию.

Все советские высшие учебные заведения заражали студентов коммунистическими трихинами. Эта идеологическая обработка и была главной целью любого вуза. Но если на мехмате МГУ помимо изучения истории партии

и научного коммунизма нам еще и преподавали математический анализ и механику космического полета, то на так называемых гуманитарных факультетах — все предметы были насквозь пропитаны ядовитой идеологической галиматьей, учиться там было контрпродуктивно. Поэтому я и не пошел в «художества», а поступил на мехмат.

Когда Володя рассказал мне о том, что наша общая знакомая Юлечка не работает и бананы жрет, я естественно подумал, что... было бы неплохо и мне... не работать... рисовать... И по музеям ходить. И бананы, и мясо...

...

В 1992 году, летом, на мою жену, гулявшую с нашей полугодовалой доченькой в огромном городском парке города К., напал какой-то мерзавец. Вероятно, скинхед. Он набросил ей сзади на шею петлю и начал душить. Жена упала, а детская коляска с спящей дочкой покатила в низину. Проехав метров двадцать коляска врезалась в дерево, опрокинулась, ребенка из нее выкинуло. В этот момент жена потеряла сознание. Не знаю, что было бы дальше, но что-то испугало преступника, и он убежал. Может, прохожий какой показался или велосипедист. Жена пришла в себя, побежала к дочери. Та, слава Богу, не пострадала.

Меня в тот день в городе не было. Я приехал на следующий день, заплаканная жена мне все рассказала и мы пошли в полицию. Написали заявление, началась беседа. Высокая женщина с чугунным лицом прочитала заявление, потом мрачно посмотрела на мою маленькую, трясущуюся жену и спросила жену чугунным же голосом: Он вас изнасиловал?

— Нет.

— Нанес вам какие-либо телесные повреждения, которые вы можете нам предъявить?

— Я могу только показать вам красную полосу на шее от веревки. Видите?

— Это не доказательство. Не могли бы вы составить словесный портрет преступника?

— Он подкрался сзади, набросил мне на шею веревку и начал душить. Я потеряла сознание. А когда очнулась — его уже не было. Я его видела издалека. Он убежал. Заметила только, что он лысый, как скинхед, и высокий.

— Откуда вы знаете, что этот, убегающий, был именно тем, кто вас якобы душил. Может, какой спортсмен, не имеющий отношения... Мало ли кто. Вы действительно были вчера в парке? Что вы хотите добиться своими измышлениями? Знаете ли вы, что ложные показания — это уголовное преступление?

Беседа превратилась в допрос. Тон полицейской дамы становился все более угрожающим. Я попытался вмешаться, но безуспешно. Меня одернули.

Пригрозили вывести из комнаты. Подошли другие полицейские и стали пристально на нас смотреть. Я разглядел в их бесцветных глазах плохо скрываемое презрение. Я тогда понимал только каждое четвертое слово.

Переводчика не позвали. А по-русски, хотя все присутствующие его более или менее хорошо знали, с нами никто говорить не пожелал.

Жена вдруг зарыдала. Мы быстро покинули полицию. Полицейские орали нам вдогонку что-то гнусное. Не понял, что.

Мы ждали, что полиция потребует нас к себе или, по крайней мере, сообщит, поймали ли мерзавца скина, но так и не дождались. Жена через год оставила город К., уехала с дочерьми в Баден-Вюртемберг, к родителям. А я остался в городе К. Года примерно через два я узнал, что в том же парке изнасилована и убита девушка. Задушена шнурком. А еще лет через десять, один знакомый левый журналист-краевед рассказал мне следующее: В те времена, полиция в бывшей ГДР еще не пришла в себя от шока объединения и симпатизировала неонацистам. Хорошо еще, что ты и твоя семья от нее не пострадали.

Преступника в парке, скорее всего, никто и не искал. Мало того, если бы он твою жену прикончил вместе с ребенком, да и тебя заодно, они бы только обрадовались. Они и сейчас тут у нас не шибко лучше. Иностранцев ненавидят. Хотя внешне — скрывают, конечно, ненависть. Мины строят вежливые, а в сердцах — бешеная злоба. Кстати, в том самом здании, где твою жену допрашивали, раньше одно время размещалось Гестапо.

После этого происшествия до меня дошло, что жизнь в Германии будет вовсе не тем, о чем я мечтал. Коемуждо по делам его.